
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОБЛИКИ НОВОЙ РУССКОЙ ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСКОЛЫ

И.И. Глебова

За последние годы тональность политических исследований, посвященных новой России, существенно изменилась. “Сегодня уже совершенно очевидно, — констатирует А.Ю.Мельвиль, — ...что политическое развитие посткоммунистических стран может идти по множеству разнонаправленных траекторий” [Мельвиль 2004: 64]. Одна из них — трансформация “одной разновидности недемократического режима в другую”, нередко завершающаяся “консолидацией ‘новой автократии’” [Мельвиль 2004: 71]. Похоже, что именно по этой траектории и движется современная Россия. Недостаточность объяснительного потенциала “парадигмы транзита” заставляет политологов обращаться к иным схемам, иным ценностно-концептуальным подходам. Широкое распространение получила, в частности, концепция предопределенности русской жизни ее прошлым. Ограниченная, верхушечная демократия, — утверждает И.Пантин, — “органично вписалась в традиционно российский способ правления” [Пантин 2003: 158]. “Путин усилил традиционализм, начав восстанавливать обвалившееся при Ельцине государство привычного русского типа”, — развивает эту мысль Л.Шевцова [Шевцова 2004: 51]. “Общество в полном смысле слова устремилось в прошлое”, — вторит им В.Булдаков [Булдаков 2005: 117].

33

Данные суждения указывают на то, что мы подходим к завершению того этапа отечественной истории, когда общество пыталось самоопределиться и идентифицировать свою политическую систему по либерально-западному образцу. Крах утопии демократических преобразований привел к возрождению (в превращенном виде) прежних страхов и предрассудков. Отсюда — представления об “откате демократии”, о реванше прошлого и возвращении к “традиционно российской” политико-культурной модели.

Иллюзорность подобных представлений не вызывает сомнений. В 1990-е годы в России не возникло демократии в западном ее понимании, а значит, нам не от чего “откатываться”. Не произошло и разрыва с “корневыми” основаниями национальной политической культуры, что делает бессмысленными разговоры о возврате: нельзя вернуться к тому, от чего не уходили. Вместе с тем абсолютно очевидно, что наша страна испытала мощное воздействие политической культуры Запада, ставшее одной из причин ее обновления. Современная Россия не продукт реставрации, она есть нечто принципиально новое. Однако алгоритм изменений не совпал с ожидаемым обществом и обещанным властью.

В России в последние два десятилетия оформился новый тип социальности, по существу не имеющий аналогов в отечественной истории. В то же время у него, безусловно, есть исторические корни. В целом это сложный сплав “современности” с “архаикой”: знакомые, хорошо узнаваемые элементы прошлого сложились сегодня в какую-то новую мозаику.

Одна из главных характеристик этой новой социальности — сосуществование двух враждебных культурных укладов или, как сказал бы В.Ключевский, — “складов”. В начале XX в. присущий России со времен Петра I конфликт двух цивилизаций, стянутых в одну, казалось бы, был преодолен. Коммунистический порядок устранил фундаментальное противоречие между традиционалистской старомосковской культурой основной массы населения и европеизированной субкультурой верхов (путем уничтожения — как физического, так и ментального — обеих). В России XX в. утвердились единая (“одна на всех”) культура и единый тип политического.

Но выход из коммунизма привел к очередному социокультурному расколу. Из общего исторического корня снова выросли две культуры: новая культура социальных верхов (условно — “нефтегазовая”) и новая массовая культура (условно — культура “резервации”). Первая, как бы (именно — “как бы”) прозападная, космополитическая, родилась в ответ на социальную трансформацию, изменение облика страны. Вторую питает “почва”, “закрытая” среда. Раскол между ними столь же глубок, как в XVIII — XIX вв. Его нельзя свести к обычному противостоянию верхов и низов, свойственному любому обществу. Он воссоздал ситуацию двух Россий и обрек их на борьбу по фундаментальным вопросам общественного бытия. Наш высший слой полностью замкнулся в себе и на себя. Его совершенно не волнует “почва”, ее проблемы, интересы, ценности. То, как она выживает. Он озабочен исключительно собой, своим “делом”. Самое яркое и убедительное свидетельство тому — судьба постсоветской власти.

ВЛАСТЬ-ВРЕМЕНЩИК

Постсоветскую власть часто сравнивают с советской, что вполне закономерно: они — ближайшие исторические “родственники”. Однако, как мне кажется, сущность нынешней власти точнее раскрывает другая историческая аналогия, связанная с феноменом “временщичества”.

Этот значимый, а в какие-то моменты — и определяющий феномен русской политической жизни, зародившийся в Смутное время и достигший своего апогея в XVIII в., так, на мой взгляд, и не получил адекватной оценки. Распространенная трактовка “временщичества” как “чужеземного застоя”, вмешательства “инородных”, “антирусских” сил в действительности ничего не объясняет, будучи реакцией на видимое, внешнее изменение привластного слоя. От внимания сторонников такой трактовки ускользает очевидный факт: в привластной среде воспитываются политические космополиты, думающие лишь о карьере и материальном достатке. Не столь важно, кто подбирается “у трона” — немцы, евреи или русские; определяющее значение для социально-политической жизни имеет подмена государственного интереса личным, корыстным.

Принято считать, что под влиянием временщиков меняется, “ухудшается” власть, обращаясь в “случайность”, результат “придворной смуты”. Это представление глубоко ошибочно, ибо появление подробных фигур не причина, а следствие “перерождения” власти. Именно “случайность”, неупорядоченность, “смутность” верховной власти притягивает к ней “случайных людей”, придавая ей самой качества временщика. Такой была власть в “беспорядочном” XVIII в. Такова же — по складу, повадкам, инстинктам — постсоветская власть.

“Временничество” связано с деформацией традиционных оснований организации власти, разрушением старого “государственного обычая”, изменением преобладающих политических умонастроений и понятий. Вероятно, это способ приспособления, адаптации власти и привластных слоев к “переходу” от некоего установившегося, определившегося порядка к новому. Переходные эпохи (конец XVII — начало XVIII в., начало XX в., конец XX — начало XXI в.) заставляют власть искать иные пути, варианты самоопределения. В такие эпохи она сосредоточивается на себе, на своих отношениях с “правлящим классом”. Замечу попутно: в подобных условиях системные реформы и глубокие социальные преобразования чреватые катастрофой (свидетельство тому — опыт последних трех царствований). Власть просто не справляется с двойной нагрузкой, не успевает контролировать изменения в “верхах” и общесоциальное обновление.

Совсем не случайно черты временщика впервые появляются у русской власти в Смутное время, когда населению Руси пришлось примириться и освоиться с мыслью о выборном царе, “деланном хоть и земскими, но все же земными руками” [Ключевский 1993, кн. 3: 136]. И хотя в тот период выбор имел для власти сугубо “технологическое” значение (он позволил ей возродиться, восстановиться), с внедрением выборного принципа она оказалась в довольно странной ситуации, требовавшей разрешения.

Выборное начало как бы внутренне ограничивало верховную власть, противореча ее природе и инстинктам. Оно лишало власть определенности, сознания своей “правомерности”, рождая в ней неуверенность, “шаткость”, делая зависимой от окружения и народного мнения. В свою очередь, очевидная слабость власти провоцировала “правлящий класс” на внешнее ее ограничение (в свою пользу), становилась двигателем “аристократического олигархизма” и “шляхетского конституционализма”. “Сговор элит” вынуждал власть к “добровольным дарам” в форме подкрепленных записей, гарантировавших права боярства. Высшая власть превращалась в служанку собственной “свиты”. Однако в неправовом, “самозванном” способе модификации верховной власти крылся и шанс на ее возрождение — путем пересмотра “сделки” с боярством. Подобный пересмотр рассматривался властью (и народом) как условие восстановления расстроенного государственного порядка.

Русская власть изначально, с самого рождения, пыталась обезопасить себя от окружения, безжалостно подавляя любую возможность появления рядом с собой слоя с выраженным “субъектным потенциалом”. Возле нее так и не возникла аристократическая прослойка — укорененная в “почве” закрытая корпорация с врожденным ощущением имущественных и поли-

тических прав. Высшие слои всегда оставались “агентами” власти (будь то самодержавной или коммунистической), отчужденными от нее и к ней стремившимися, а та, демонстрируя “пренебрежение к породе” и классифицируя элиту не по социальному происхождению, а по социальной функции, укрощала их порывы. В моменты ослабления верховной власти аристократические элементы пытались ее ограничить или даже заместить собою. В этом, собственно, и заключалась политическая деятельность порусски: сначала боярство, затем дворянство, не желая оставаться орудием правительства в управлении обществом, стремилось править обществом посредством правительства. Подобное стремление разделяла и номенклатура — как ленинская “старая гвардия”, так и послесталинская “верхушка”. Присуще оно и новой русской “элите”.

Конституционные потуги “боярства” шли вразрез не только с характером верховной власти, но и с устремлениями народа. Вообще, русская политическая культура скорее антиаристократична, нежели антидемократична (в западном смысле слова) — ей чуждо аристократическое начало. Неприятие политических амбиций аристократии отличало простой народ, “почву”, и в XIX, и в XX, и (как показывают высокие рейтинги В.Путина) в начале XXI в.

На протяжении многих веков важным источником укрепления русской власти выступало “народное обоснование”. Смута начала XVII в. вызвала к жизни новую политическую силу — волю народа, появившуюся рядом с государевой. “Мысль о государе-хозяине в московских умах постепенно... осложнялась новой политической идеей государя — избранника народа” [Ключевский 1993, кн. 2: 185]. И эта идея была разыграна, использована властью. Не рожденная, а сотворенная боярскими руками, власть под маской народного выбора скрывала свое истинное (договорное, “сделочное”) лицо. Земский собор служил для нее “противовесом” Боярской думе; признавая свою ограниченность Собором, “земский царь” пытался освободиться от “всякого действительного ограничения”. Примечательно, что еще в XVII в. решения Собора подкреплялись народным одобрением. Известно, например, что провозглашение царем Михаила Романова на Соборе 1613 г. “было лишь предварительным избранием, только наметившим соборного кандидата. Окончательное решение предоставили непосредственно всей земле. Тайно разослали по городам верных людей выведать мнение народа, кого хотят государем на Московское государство. Народ оказался уже достаточно подготовленным. Посланные возвратились с донесением, что у всех людей, от мала и до велика, та же мысль: быть государем М.Ф.Романову... Это секретно-полицейское дознание, соединенное, может быть, с агитацией, стало для Собора своего рода избирательным плебисцитом” [Ключевский 1993, кн. 2.: 180]*.

Апелляция к народу, “демократическая” легитимация и позже активно использовалась властью. Создание публичного пространства сужало воз-

* Аналогичную или очень близкую роль играют современные опросы общественного мнения: высокие рейтинги Путина (обеспеченные в т.ч. и подготовительными PR-акциями) легитимируют президентские выборы даже в случае низкой явки избирателей и использования административного ресурса, обретая значение плебисцита.

возможности “дворцовой революции”, ограничения самодержавия в пользу верхушки господствующего класса. Иначе говоря, такая легитимация всегда воспринималась русской властью в охранительном смысле: оправдание народной волей (всенародным выбором, признанием, любовью) позволяла — и позволяет — ей самоосуществляться.

Вместе с тем во все времена верховная власть пыталась подчинить себе демократический принцип путем полного выхолащивания его реального содержания. В этом обнаруживается ее истинная природа: *она признает единственный вариант легитимации — из и от самой себя. Все иные — функциональны.* И это закономерно: русская власть не есть порождение общества, с ним связанное, от него зависящее, ему подконтрольное. Она вне него и сама по себе. *Ей по-прежнему принадлежит роль социального творца.*

Анализ прошлого и настоящего русской власти позволяет сделать вывод: при наложении на русскую властную традицию “выборной модели” (в т.ч. в ее современном, демократическом варианте) власть мутирует, вызывая к жизни особый феномен — власть-временщика. Такая власть слаба, неустойчива, зависима, замкнута на себя, оторвана от общих социальных проблем и самого социума — “почвы”, народа. По-настоящему опереться она может только на временщиков же, поэтому сама инициирует процесс их создания. Видимо, природе русской власти, отягощенной самодержавным комплексом, не органична выборность, связанная (формально-юридически или фактически) с ограничением срока пребывания у власти любого ее носителя. Неизбежность утраты властных полномочий формирует у него психологию случайного держателя, временщика. В российских условиях выборность есть показатель смуты власти, ее “случайности”, “самозванчества”.

37

Монархия позволяла русской власти преодолеть свою “случайность” путем узаконения “правильного”, т.е. династического, порядка трансляции соответствующих прерогатив. Возвращаясь к наследственной легитимации, верховная власть переставала ощущать свою временность и вести себя как временщик, становилась не “долевой”, а полной. Для большинства народа это служило показателем ее законности. Сейчас выборность (временность, случайность) — одно из неперемных правил политической игры. Стремясь войти в “большой мир” современности, русская власть сама на себя наложила данное ограничение. Но то, что в новых условиях она начинает вести себя как временщик и подобное поведение не встречает протеста со стороны общества, доказывает: власть остается русской, ее природа и место в социуме не изменились. Используя новейшие западные технологии, власть-временщик модернизируется и захватывает не только материальные, но и символические богатства — любовь, признание, поддержку народа. Это позволяет ей выжить, а ее носителю — сохранить свое влияние в политике, даже уйдя из нее. Будучи (в основном) деструктивной для социума, она весьма эффективна для самой себя.

ИМИДЖ ВЛАСТИ И ВЛАСТЬ ИМИДЖА

Одно из центральных понятий, определяющих специфику нашего времени, — имидж. Образы, замещающие реальность, позволяют примириться с нею. Имидж власти, имидж народа, имидж реформ, имидж демокра-

тии и порядка, имидж прошлого. Нашу жизнь поддерживает вера уже не в Государя и Россию и не в строительство социализма и народных вождей, а в имидж. Имидж — это то, с чем может войти в историю современная власть. Именно поэтому образ власти, ограниченной в ресурсах и по сути слабой, формируется (в т.ч.) посредством национально-государственной, патриотической, “державной” символики и “нужного” прошлого. Новая русская власть — в той же мере, что и советская — стремится замаскировать “подлинную действительность”, творя рядом с ней и вместо нее иную.

Что же скрывается за имиджем власти, каковы ее истинная природа, задачи, черты? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к исследованию глубинных образов власти, проводившемуся 2001 — 2002 гг. под руководством Е.Шестопал. Согласно этому исследованию, власть видится большинству россиян размытой, туманной: неясно, кому она принадлежит, кто ею владеет и распоряжается [Шестопал 2004: 156]. Четко выражено лишь ощущение глубокого водораздела между властью и народом, понимание того, что “обычные люди нужны власти только для выполнения определенных функций голосования или приветствия и должны выпрашивать как милостыню зарплату и социальные пособия” [Шестопал 2004: 162, 165].

С социально-экономической точки зрения подкрепляющую власть “нефтегазовую” культуру представляют 2% населения — лица со сверхвысокими доходами. Обслуживающий и амортизирующий их слой (обобщенный средний класс) — около 20% от общего числа российских семей (его “ядро”, обладающее всеми базовыми характеристиками “среднеклассовости”, — 7% домохозяйств). Подавляющая часть “средних” связана с относительно эффективными секторами экономики, где сосредоточены очаги экономического оживления [см. Малева 2004].

Носителями культуры “резервации” выступают низшие слои, находящиеся за чертой бедности (около 10% домохозяйств). “Большинство этих людей относится к традиционно бедным категориям (пенсионеры, безработные, многодетные семьи, инвалиды и др.), материальное положение которых определяется главным образом возможностями государственных финансов и системы социальной защиты” [Малева 2004: 80].

Основная же часть “почвы” (примерно 70% российских домохозяйств) — это та “промежуточная группа”, которую специалисты описывают формулой “уже не низшие, но еще не средние”. Если экономический рост укрепляет материальное положение наиболее обеспеченных групп, а прямое регулирование доходов дает некоторый результат в зоне бедности, то группа “ниже среднего” (т.е. большинство населения современной России) оказалась “за кадром” экономической и социальной политики; “импульсы, исходящие и от положительной экономической динамики, и от попыток правительства поднять уровень жизни населения, сюда либо вообще не доходят, либо доходят в усеченном виде” [Малева 2004: 81].

“Промежуточная группа”, вобравшая в себя значительную часть “почвы”, — наш аналог западноевропейского и американского среднего класса. Там 60-70% населения — источник социального благополучия, гарант и стабилизатор демократии, рыночной системы хозяйства. У нас эта открытая, аморфная, неопределенная среда — основа Порядка. Дезориентиро-

ванная, лишенная внутренних органических скреп, нацеленная на выживание (т.е. простое воспроизводство), готовая свести к минимуму свои потребности в обмен на гарантированную социальную поддержку, она легко поддается манипулированию. Используя тот факт, что “российское сознание остается неустойчивым и амбивалентным” [Дилигенский 2002: 68], власть гасит нежелательные процессы, конденсирует и использует бродящие в этой среде “призраки” (мифы, воспоминания, надежды). Конечно, и для поддержания социального мира, но главным образом — для сохранения самого себя. И группа “ниже среднего”, которой как нельзя лучше подходит определение “никакой класс”, является в этом союзником власти.

На основании вышесказанного можно констатировать: в России в очередной раз все оказалось “как всегда”. (При том, что “хотели как лучше” — каждый для себя. У очень немногих осуществилось.) В ходе “демократических преобразований” меньшинство (2% “избранных” + 20% “приблизженных”) получило возможность жить — включиться в общество потребления, насытиться материей, увидеть мир и стать его частью, создать “стартовую площадку” для детей, ощутить вкус перемен, испытать “шок будущего”. Большинство (70% уже не бедных, но еще не средних + 10% оказавшихся “за чертой”) вынуждено выживать — причем само по себе и тихо. Нынешнее “молчаливое большинство” со своими проблемами существует помимо и вне зоны публичности — там правят бал “новые русские”, их вкусы, ценности, интересы, представления о жизни. Остальные могут приобщиться — чаще всего на виртуальном уровне, присоединившись к числу зрителей. Иногда их приглашают “поучаствовать” (в праздниках, зрелищах, выборах) — в качестве массовки. Поэтому “нефтегазовая” культура приобретает форму “легальной”, а почвенная — “подпольной”.

39

Уникальность нынешней ситуации в том, что все эти метаморфозы, расколы и трансформации произошли без обычных русских ужасов — крови, гражданской войны, закрепощения и эксплуатации всего и вся. Напротив, свобода — главный атрибут “постсоветскости”. Власть (и ельцинская, и путинская) оставила населению все значимые для него свободы — равно как и заботу об обеспечении возможностей ими пользоваться. Традиционно русская власть, русская государственность, высшее “служилое сословие” проявляли необычайную активность по созданию “всеобщих условий производства”, жесткого механизма извлечения и централизованного распределения совокупного прибавочного продукта. Это не только порождало “всемогущество и жестокость власти российских самодержцев и сопутствующий ей суровый режим внутреннего подавления сословий” [Милов 2001: 571], но и затрудняло становление форм индивидуальной деятельности, тормозя естественный процесс общественного разделения труда и препятствуя формированию механизмов самоорганизации общества. При системе подобного типа стимулы к развитию всегда исходили как бы “сверху”.

Сегодня сложилась принципиально иная ситуация. Постсоветская власть существует вне и помимо общества. Будучи не способна обеспечить социальную интеграцию и развитие, она не нуждается в закрепощении сословий, всеобщем принудительном труде, создании всеобъемлющего государственного сектора, предельной консолидации господствующего слоя.

Слабость, ресурсная ограниченность не позволяют ей осуществлять (эффективно и в полном объеме) “несущие” функции управления (административное, хозяйственное и судебно-правовое регулирование, поддержание внутренней и внешней безопасности и т.д.). Социальная неэффективность государства есть следствие упрощенности, примитивности самоорганизации российского общества.

Теперь, когда гнет государства свелся к минимуму, у народа, наконец, появилась возможность создать что-то альтернативное власти. Важную роль в этом процессе могли бы сыграть церковь, гражданские инициативы, свободное предпринимательство. Могли бы — но не играют. “Свободная” Россия не проявляет стремления организовать на благое дело. Она, скорее, склонна сдаться “России Единой” — в обмен на продление “вольной”.

Что же касается власти, то она вынуждена мириться с вечным хаосом “внизу” (который, собственно, и есть русская повседневность), то “подмораживая” его, то иницируя “потепления”. В этом смысле источник развития по-прежнему остается “наверху”. Главная задача, стоящая сегодня перед властью, — приспособиться к своему географическому и демографическому “сужению”, не допустить, чтобы оно “съело русскую историю”. От того, как она справится с этой задачей, во многом зависит ее будущее. А рецепт у нее один — наращивание военного, оборонного, “имперского” потенциала, что при нынешнем алгоритме существования власти весьма проблематично.

В самоустранении от общесоциальных проблем проявляется истинная природа постсоветской “элиты”. Господствующий слой новой России раздроблен на группы, которые находятся в состоянии перманентной “войны” за доступ к ресурсам и сверхдоходным производствам. Все эти группы участвовали (и участвуют) в создании супермонополий — сырьевых, телекоммуникационных и др., которые легко взять под контроль. Верховная власть выступает одним из игроков на этом поле и “результатирующей” всех схваток.

НОВЫЙ РАСКОЛ

Парадоксальность современного российского социокультурного раскола заключается в том, что он возник в условиях массового общества. И верхний социальный слой, и “почва” принадлежат к так наз. “сообществу потребителей”; их вкус воспитывает массовая культура. Теоретически потребительская реальность должна была бы препятствовать расколам, формировать некое подобие социального единства верхов и низов. Однако в России произошло прямо наоборот. Хотя потребительская гонка отчасти опосредует, смягчает разрыв социальной ткани, в главном (а именно — в типах потребления) различия между двумя культурными “складами” носят принципиальный характер. И дело здесь не просто в разном качестве, способах, формах потребления (в т.ч. информационного), что само по себе порождает расхождения в привычках, вкусах, навыках, условиях и стиле жизни, производит не похожие друг на друга человеческие типы. Дело в том, что внезапное вторжение западных потребительских стандартов в сочетании с явленной возможностью стремительного обогащения буквально разорвало постсоветский социум на два мира, две “цивилизации”.

Потребности, запросы представителей “нефтегазовой” культуры могли быть удовлетворены только за счет массы населения. Высокий жизненный уровень верхов обеспечен жертвой, принесенной “почвой” — вынужденно, под давлением обстоятельств. Появление “нефтегазового” слоя требовало “почвенизации” (в социально-экономическом, политическом и других отношениях) большинства. Именно заключение в “резервацию” основной части народа позволило “новорусской” жизни превратиться из сказки в быль.

В 1990-е годы власть (подспудно, незаметно) создала такие “рамочные условия” существования “среднестатистического” человека, которые максимально усложняют решение им даже элементарных жизненных задач, ориентируют на выживание в агрессивной социальной среде. Практически все аспекты бытия homo post-soveticus (получение паспорта, приватизация жилья, рождение ребенка и т.д.) превращаются в тяжелую проблему, требующую сил и времени. Многопроблемье подавляет и озлобляет, “зацикливает” на себе, стимулирует социальную пассивность. Нагнетание сложностей (как и виртуальных потребительских радостей) есть способ изъятия субъектной энергии социума, лишения его возможности самовыражения, гражданской реализации. Поглощенный бытовыми проблемами, частными делами homo post-soveticus прочно связан с “почвой”, вырваться из которой может только чудом. Перемещение в пределах “резервации” в большинстве случаев мало что меняет; здесь действуют единые правила — и все они не в пользу человека.

Конечно, в 1990-е годы бывший русско-советский “маленький человек” совершенно изменился. Он получил свою долю “американской мечты”, свой кусочек “потребительского рая”. Но общий настрой, жизненная стратегия, тип обустройства в мире претерпели незначительную эволюцию. Люди ищут укрытия от враждебной социальной среды в своих частных мирках, не допуская туда посторонних. Им свойственно неприятие Других, недоверие к внешнему миру вообще.

Созданные расколом жизненные условия программируют “почву” на то, чтобы быть все более “почвенной”, усиливают тягу большинства к изоляции, отчуждению. Такого рода изоляционизм, вынужденный, анархический, позволяющий адаптироваться к внешнему миру за счет пассивного сопротивления ему, прекрасно сосуществует с системой свободных коммуникаций, происходящих вне и помимо контроля власти (мобильные телефоны, Интернет, электронная почта). Символом новой русской действительности стало сложное сочетание изоляционизма и информационной открытости. Вместе с тем очевидно, что в отношениях человека с “большим” миром, с политической средой изоляционизм играет ведущую роль. Его проявления — аполитичность, социальная инертность, упования на власть и комплекс “особого русского пути”. Все это поощряется, консервируется “верхами” — уже не посредством физического насилия, принуждения, запрещения, а через создание “рамочных условий”, вынуждающих “почву” к изоляции, разрывающих ее на отдельные человекомыры.

Специфика нынешней ситуации в том, что благодаря преобразованиям конца 1980-х — начала 1990-х годов в России возник слой людей, для которых власть — только функция, пусть важная и существенная. Судьба этих

людей в чем-то подобна судьбе интеллигенции: их тоже, сама того не желая, породила власть, они тоже — побочный продукт “реформ”. Речь идет о представителях “нефтегазовой” культуры, впитавших в себя западный (потребительский и накопительский) опыт. Это — теперь уже бывшие “новые русские”, “вышедшие” из малинового пиджака, как истинный интеллигент — из “шинели”. Среди них — не только криминальные лидеры и прожигатели жизни, но и образованные, чрезвычайно эффективные люди, занятые реальным делом, интересующиеся высоким искусством и поддерживающие его. Она постоянно приращивается, эта среда, принимающая всех, кто ей соответствует — в финансовом отношении.

В России в переломные моменты именно так и формируется “элита” (опричина Ивана Грозного, петровское дворянство, ленинско-сталинская партия). Русский правящий класс всегда был смешанным, “сбродным” по составу — в социальном, профессиональном, этноконфессиональном отношении. Данная его черта особенно бросается в глаза в смутные времена, когда “элита” открывается для притока людей из “почвы”. Эти “новики”, непривычные к власти, “без фамильных преданий и политического навыка”, становятся “носителями и проводниками новых политических понятий”, проникающих в русские умы в каждую следующую Смуту [Ключевский 1993, кн. 2: 188-189; кн. 3: 175]. Вторжение значительного числа “новичков” разрывает “замкнутую цепь” “фамильных людей”, разрушая основы организации правящего слоя и создавая широкий простор для хаотической борьбы в верхах — за власть, за доступ к ресурсам, за распределение доходов. Поэтому обновление русской “элиты” неизбежно связано с “дворцовой смутой”, расшатыванием верховной власти, социальными катаклизмами.

42

Пожалуй, главный признак “новорусской элиты” — это неукорененность. Новый “склад” жизни определяют “пришельцы”, задающие нормы, стандарты, ориентиры. Их продвижение к “высотам” внешне зависит исключительно от случая и изворотливости, но по существу обусловлено удивительным соответствием эпохе, ее требованиям и вызовам. Хотя “новики” вышли из “почвы”, ради стремительного броска наверх они отказываются от “корней” и, преодолевая их, перерабатывают себя. Но и “старая знать”, чтобы сохранить свой статус и войти в новый мир, тоже должна отказаться от прошлого, пожертвовать им. Будучи полностью адекватна велениям времени, “нефтегазовая” культура строится на отрицании прошлого (как, собственно, и будущего) во имя настоящего. Можно сказать, что современную российскую “элиту” отличает ярко выраженный “презентизм”*. Отсутствие истории, реальной преемственности заставляет ее постоянно выстраивать традицию, искать “корни”, конструировать образы общего прошлого, эксплуатировать любое (символическое, культурное, политическое) наследие. В этом — ее сила, но и слабость тоже, ибо она лишена (причем в гораздо большей степени, чем любая западноевропейская элита) “той самой английской надежности, которая обеспечивает обществу незыблемую стабильность” [Dahrendorf 1990: 13]. Неукорененность правящего класса

* Недаром В.Путина, первое лицо этого культурного слоя, называют человеком “без прошлого” [Булдаков 2005: 107].

лишает национальную политическую культуру устойчивости и свидетельствует о дефиците в ней преемственности и диалогичности.

Первый и главный уклад постсоветской жизни сегодня принято обозначать термином “Рублевка”. Данное понятие из географического превратилось в социокультурное. Конгломерат “рублевок” (во всех “городах и весях” современной России) образует “архипелаг” новой русской жизни, оторванный от “почвы”, но определяющий ее настоящее и будущее. Это тот своеобразный “питомник”, где выращивается “новая порода” людей, чистый продукт “нефтегазовой” культуры. С ними, с их воспроизводством связано подлинное торжество этой “высокой” культуры раскола. И перспективы развития страны тоже.

* * *

Нынешний социокультурный раскол не есть нечто случайное, несущественное, неожиданная специфическая реакция на современность. Наша политическая культура вообще подвержена расколам. Эти повторяющиеся, типологически, структурно, содержательно схожие явления во многом определяют русскую жизнь. У расколов имеется особый ритм, как-то связанный с национальной социодинамикой. Они накладываются на чередующиеся эпохи “открытия” и “закрытия” русской системы, ее опосредованного мир-системой — и (в основном) замкнутого, ориентированного на себя существования. Синхронизированы они и со своеобразным русским циклом смены “смут” и “порядка”: чередованием периодов социальной нестабильности, кризисов, катаклизмов — и упорядочивания, “подмораживания” хаоса (когда порядок привносится “сверху”, а не произрастает — постепенно, естественно — изнутри, из клеточек социального организма).

43

В ситуации нынешнего раскола, при непримиримом, антагонистическом характере взаимоотношений основных субкультур именно верховная власть скрепляет общество, удерживает вместе его составляющие. Раскол, несомненно, делает власть (как реальность и воображаемое явление) абсолютно необходимой социуму, воспроизводя традиционный принцип социальной интеграции “сверху вниз”. Для самой же власти решающее значение приобретают ее внутренние проблемы — легитимации и трансляции.

Противостояние субкультур актуализирует и иные “компенсаторные механизмы”, обеспечивающие сплоченность на “почвенном” уровне, символическое единение социального организма, т.е. все то, что находит выражение в идее “особого русского пути”. Ее “возрождение” приходится на середину 1990-х годов, когда определились основные черты новой российской социальности. Идея “особого пути” не просто “спускается сверху”, чтобы усилить почвеннический изоляционизм, герметично закрыть “резервацию”. Этой идеей обременена сама “почва”. Посредством ее легитимируется власть: обеспечивая России “особый путь”, она как бы встает над двумя “складами” русской жизни, непосредственно не связывая себя ни с одним из них, но выполняя функции посредника, модератора. Иначе говоря, она (символически) занимает то положение, которое и назначено русской власти. Продвижение идеи “особого пути”, внедрение ее в массовое сознание “укореняет” (опять же символически) господствующие группы,

придает им национальные черты, консолидирует их. В результате формируется некое странное подобие (имидж) социального единства, гарантирующего подобие (имидж) благосостояния и прогресса.

Тот факт, что политический “консенсус”, достигнутый “элитами”, ориентирован на русскую “особость”, еще раз подтверждает: по своему происхождению и взглядам мы не принадлежим к западному миру. Очередной дрейф на Запад не привел к возникновению на русской “почве” гражданской формы жизни, опирающейся на либеральный государственный и экономический строй. И в том, что в 1990-е годы в России не произошло коренного социального и духовного обновления, вина в первую очередь господствующих групп, которые остаются своего рода несущей конструкцией общественного здания. Несмотря на усвоение западных “элитарных” потребительских стандартов (и размещение на Западе своих капиталов), представители “нефтегазовой” культуры так и не стали людьми европейской цивилизации. Они избавляются, очищаются от тех, кто всерьез пытается вживить в русскую действительность западные ценности, нормы, модели. Именно их интересы требовали преодоления демократической формы правления, торможения модернизации и реального экономического роста. Вместе с тем, как ни прискорбно это констатировать, неспособность одержать победу над собой во имя будущего — черта, которая в равной степени присуща двум культурам, двум русским мирам.

Булдаков В. 2005. Системные кризисы в России: сравнительное исследование массовой психологии 1904–1921 и 1985–2002 годов. — *Acta Slavica Japonica*, vol. 22.

Дилигенский Г.Г. 2002. “Запад” в российском общественном сознании. — *Россия в условиях трансформаций. Историко-политологический семинар. Материалы*. Вып. 24. М.

Ключевский В.О. 1993. *Русская история: Полный курс лекций в трех книгах*. М.

Малева Т. 2004. Социальные страты и социальная политика: от уроков прошлого к будущему развитию. — *Россия: ближайшее десятилетие*. М.

Мельвиль А.Ю. 2004. О траекториях посткоммунистических трансформаций. — *Полис*, № 2.

Милов Л.В. 2001. *Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса*. М.

Пантин И.К. 2003. В чем же заключается выбор россиян? — *Полис*, № 6.

Шевцова Л. 2004. Как Россия не справилась с демократией: логика политического отката. — *Pro et Contra*, т. 8, № 3.

Шестопал Е.Б. (ред.) 2004. *Образы власти в постсоветской России: политико-психологический анализ*. М.

Dahrendorf R. 1990. Quadratur des Zirkels: Wie entsteht die politische Kultur. — *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 9.03.